

## Высказывание как действие и как акт

### *Мифология активиста.*

В отличие от подхода, стремящегося к неограниченному расширению полномочий любого вопроса – то есть подхода, который еще недавно назывался «философским» – наш подход основан на том, что существует среда, для которой рассматриваемый здесь общий вопрос имеет совершенно специальный смысл. Речь идет о среде, занятой непосредственным воссозданием тех событий, которые с ее точки зрения ошибочно – чаще всего вследствие сложившейся политической и административной конъюнктуры – не имеют места в действительности. По этой причине, данная среда вынуждена называть себя «*активистской*» – обозначение, прижившееся недавно и намекающее, что речь идет о начинании, которое оценивает свой политический вклад, исходя из своего соответствия регулятивному идеалу, заложенному в понятие «действия».

Превратившись из зафиксированных историей случаев отдельного подвижничества в общепризнанную политическую силу современности, среда эта немедленно стала заложницей теоретического затруднения, не находящего в ней разрешения. Вне зависимости от того, чем заняты ее отдельные направления, затруднение задано ее основными приоритетами, получившими тенденциозное и примечательное сопоставление – активизм явился в своем роде первой инициативой, где в отношении конкуренции были поставлены «действие» и «высказывание». Сегодня подобная постановка вопроса приобрела оттенок тривиальности, которая, впрочем, не должна обманывать – это противопоставление носит характер вполне современный и его невозможно вывести из той расплывчатой дидактики «правильной жизни», которая, восходя к античности, неизменно сопровождала религиозного субъекта. Даже в самых ригористичных поучениях противопоставление слов и дел не выступало в роли альтернативы, оголенной до такой степени – ни одна «проповедь добрых дел» не вступала в конкуренцию с тем, что с христианской точки зрения несет с собой слово.

Напротив, отличительной чертой современного, вполне секулярного активистского подхода является то, что еще до всякого определения действия и высказывания между ними наблюдается соперничество, которое неизменно устроено не в пользу высказыва-

ния. Здесь мы погружаемся в мифологию – в сферу наиболее общих представлений, характерных для той или иной практики. В мифологии активистских воззрений высказывание традиционно отмечено признаками немощи и небытия, занимая свое место лишь временно, в ожидании действия, к которому оно порой призывает и которое привнесет с собой нечто принципиально новое. До сих пор сохраняет свое влияние миф, в котором «действие» принимает эстафету «высказывания», решительно устремляясь в те сферы, где должно находиться нечто «более реальное».

Мифом эта последовательность является в первую очередь потому, что на практике т.н. «действие» – например, массовое политическое выступление (по досадному обыкновению то и дело происходящее помимо всех активистских усилий) – никогда не дожидается прекращения высказывания и вообще не вступает с ним в отношения чередования. Само представление о неких тактах, отделяющих речь от поступка, обязано, по всей видимости, так и не преодоленной мифологии правого толка – мифологии, обнаруживающейся в учениях, неоправданно пристальное внимание уделяющих явлению «трансгрессии», в которой действие, по общему мнению, должно сопровождаться торжественным и вынужденным молчанием.

Господство этой мифологии и завязывает узел заблуждения, поскольку, сделав еще в преддверии «мая-68» первые шаги в признании за высказыванием права обладания своей собственной эффективностью – и, что еще важнее, своей собственной несостоятельностью – активистская практика продолжает оценивать его по меркам действия, единицей измерения которого, как можно заметить, опираясь на характерную для активистской публицистики риторику, продолжает оставаться т.н. «поступок». Интересно, что помимо чисто философских пертурбаций, из этого также следует, что активистская этика при всей своей предположительной секулярности остается почти что полностью укоренена в перспективе, ближайшим ориентиром которой является персоналистский подход, опирающийся на т.н. «этику поступка» – парадоксальная опора, не получившая пока достаточного осмысления.

В любом случае, у высказывания в этом положении не особенно много привилегий. Как для Эдипа наилучшей судьбой было бы, по его словам, «не родиться вовсе», так для высказывания наиболее предпочтительный жребий с точки зрения активизма со-

стоит в том, чтобы лишившись всего того, чем оно в качестве речи со всеми характерными для нее чертами отмечено, оказалось бы максимально приближено к своей предполагаемой противоположности, т.е. к действию. Именно этому и служит поздняя активистская реабилитация речи под именем «высказывания» как «акта высказывания» – при том, что последнее представляет собой еще не термин, а всего лишь риторическое использование патетических возможностей, заложенных в термине «акт». По сути, этот подход учит речь забывать о том, что она «всего лишь речь» – хотя это «всего лишь» при таком подходе продолжает преследовать высказывание с прежним упорством.

Все, ведущиеся с подобных позиций рассуждения об акте высказывания, отличает одна и та же склонность – из производства концепта они оборачиваются призывом. Вместо аналитической деконструкции, которой акт высказывания должен был бы подвергнуться – поскольку это единственная возможность выявить его структурное место – он раз за разом помещается в заранее уготованную ему этическую перспективу, в которой вопрос о том, что он собой представляет, оказывается подменен вопросом о том, что именно он призван *произвести*.

### *Перформатив, иллюкутивная сила и выражение намерения.*

Следующим этапом стало открытое признание того факта, что проблематика производства для речи является основной. Здесь перспектива претерпевает смещение, поскольку тем самым проблема акта помещается в иную терминологическую традицию, а именно в контекст теории речевых актов лингвистов Дж. Остина и Дж. Серля, энергичное вмешательство в которую со стороны одного из самых крупных философов современного активизма, Дж. Батлер, предложившей её политическую модификацию, было воспринято как долгожданный выход из тупика. В конечном итоге, Батлер сделала все для того чтобы предложить активистской практике не то, без чего она так и так намеревалась обойтись – очередную «онтологию активизма», всегда внушавшую той сильные подозрения и заставлявшую отказываться от любой философской теории – громкие отказы, которые многие трактовали неправильно. Напротив, предложив этой среде «удачное слово», Батлер стала первой из тех, кому удалось развеять ложное впечатление теоретической глухоты

активизма – успех ее теории показал, насколько силен все это время был соблазн.

Именно так в политактивистском, а заодно и в академическом лексиконе и появилось понятие *перформатива*, реально сулящее качество «действия» речевым актам, которые раньше в лучшем случае могли претендовать лишь на бытие актами репрезентации. Сказалось ли здесь общее утомление от замашек марксистского ригоризма, по привычке унижавшего высказывания, имевшие виды на что-то большее, чем на роль «идеологических заблуждений правящего класса», или же что-то еще, но мало-помалу качество перформативности стало потенциальной характеристикой любого публичного высказывания, носящего или требующего признать за ним характер акции.

Любопытным образом от этого выиграло и само активистское «действие», поскольку с его точки зрения также оказалось, что существуют как деяния рядового толка – безусловно похвальные, но остающиеся рутинной активистской работой – так и те, которые также могут выступить в качестве чего-то еще – в сопровождении того неуловимого, что привносит с собой перформативность и что будет иметь последствия предположительно необратимые. Вот что, по сути, окончательно покорило сердце недоверчивого активистского сообщества, поскольку Батлер удалось попасть в самое чувствительное – в том числе и в смысле честолюбия – место субъекта активистской практики. Вынужденный пробавляться ежедневным трудом по просвещению окружающей среды и улучшению ее условий – трудом, часто не обещающим даже кумулятивного эффекта – именно о возможности совершать нечто такое, что имело бы необратимые последствия, он и мечтает. В любом случае, теоретическое обоснование подобной возможности не могло его не заинтересовать.

Случайно или же нет (любое настояние на неслучайности тоже в свою очередь будет носить чрезмерно заинтересованный характер), происходящее совпало с расцветом так называемого искусства перформанса – метонимия направлений, дополнившая общую картину. Так или иначе, наблюдавшаяся здесь спутанность различных источников и направлений никого не оттолкнула – напротив, именно она как будто развязала руки интеллектуальной среде. За какие-то десять лет после выхода в свет первых батлеровских работ о «перформативности» как «сотворении новой реальности при по-

мощи языка и практик искусства» заговорили все – появился даже специальный термин «performative-writing», описывающий крупный сегмент академического и публицистического письма, опиравшегося на перформативность как на потенцию политического вмешательства. Активист, интеллектуал, художественный критик – у каждого из них был свой повод выразить воодушевление по поводу категории, «отпирающей реальность» и впервые позволяющей именно высказыванию стать чем-то, что поворачивает ключ.

Ирония, несомненно, заключается в том, что сами первоизобретатели теории речевых актов к этому времени практически полностью перестроились на рельсы т.н. «теории сознания», тесно связанной на нейрофизиологию<sup>1</sup> и, предположительно, смотревшей на потенции политического свободолюбия довольно консервативно. Нельзя сказать, чтобы этот факт сам по себе предвещал теории «перформативного вмешательства» что-то дурное – на первый взгляд, к моменту своего расцвета она уже совершенно от лингвистических отцов не зависела. Тем не менее, независимость эта была неполной, что проявилось в некоторых более глубоких допущениях, на которых политическая теория перформативности основана. Последние, как будет показано, заставили ее, невзирая на присутствующую ей радикальность, оставаться солидарной не столько с начальными заветами, сколько со скрытыми начальными допущениями теории речевых актов. Именно это и привело к тому быстрому выгоранию, которое буквально на наших глазах настигает интеллектуальную программу «перформативности».

На самом деле, редко обращают внимание, насколько в целом любопытна сложившаяся здесь ситуация, поскольку, если рассматривать вопрос, начиная с азов лингвистической философии, состояние речи, символизируемое понятием перформатива, выступает как крайний случай – практически как чрезвычайное положение. Здесь нет возможности подробно проследить, как из речевого инцидента, по своей сути скорее маргинального (во всяком случае, вызывавшего у лингвистической философии поначалу интерес скорее лабораторный) перформативность была возведена в ранг предначертанной публичным высказываниям и практикам предпочтительной судьбы – особого достоинства публичной речи как таковой.

---

<sup>1</sup> В русскоязычной среде тот же Джон Серль прославился как автор работ, посвященных теории сознания – среди них «Открывая сознание заново» (М., 1992).

Интересно, что основная часть именно политического учения о перформативности в итоге оказалась в итоге его теневой частью, поскольку то, с чего начала сама Батлер (утверждение, что перформативность поначалу приходит в мир как власть речи над бессильными – как проявление власти со стороны самой власти; перформативность присуждения субъекту его гендера и расы<sup>2</sup>), в последующих интерпретациях переросло в концепцию, где перформативность может быть перехвачена активистским подходом и использована в ответ в качестве акта *creation of new reality*.<sup>3</sup> Мало-помалу характеристика высказывания или практики как «перформативной» для современного активиста-интеллектуала стала синонимом вмешательства *par excellence*, предполагающего действие «более действенное», «более эффективное в деле изменения наличной действительности», чем действие в его обыденном значении. Вместе с этим перформативность превратилась в качество, которым речь непременно должна обзавестись, чтобы стать чем-то аналогичным поступку, заключающему в себе определенную мощь и оцениваемому исходя из этой мощи.

Начать же следует с того, что произошедшее в не столь давних дискуссиях возвеличивание перформатива поразительно контрастирует с начальными разработками Остина, где перформативное высказывание никаким этическим достоинством не обладает. Напротив, последствия его – случись ему оказаться успешным – в ряде случаев могут быть значительными, но само оно при этом предстает своего рода риторической диковинкой, почти что капризом языка. Не случайно работа Джона Остина носит название настолько двусмысленное, что его вполне можно было прочесть как руководство для профессионального трюкача.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Butler Judith: *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity*, 1990.

<sup>3</sup> В направлении к этому продвигаются как работы самой Дж. Батлер, так и сопровождающие ее исследование широкие активистские и художественные направления. Последняя книга Батлер (2013) снова выносит в заголовок понятие «перформатива» и кладет его в основу нового инструментария перераспределения политической власти. Judith Butler, Athena Athanasiou *Dispossession: The Performative in the Political* (PCVS-Polity Conversations Series): 2013.

<sup>4</sup> В названии «How to do things with words» языковой контекст безболезненно позволяет прочесть слово *things* как обозначение «всяческих штук», «трюкачества». То, что на русский это заглавие было переведено с пафосностью, граничащей почти что с объявлением новой эпохи в понимании функции речи, следует оставить на совести переводчика, по всей видимости живо затронутого спорами о «реальной действенности» высказывания.

В то же самое время не вызывает сомнений, что именно лингвистическая философия несет ответственность за отсроченную, но в итоге практически полную аналогию между речевым актом и воздействием чего-то такого, что в отношении речи выступает как ее «мощь» – рассуждения самого Остина полностью завязаны на том, что сам он называет «иллокутивной силой» (*illocutionary force*), позволяющей перформативу состояться как действие. Чего в истории вопроса действительно недостает, так это анализа, который запросил бы о статусе самого использования термина «сила» в теории речевых актов. Лингвистические философы, вслед за Остином, рассуждающие об иллокутивной потенции, которая должна быть присуща высказыванию для того, чтобы оно могло считаться перформативом, действительно пользуются словами *force* или, реже, *power*, не отдавая себе, разумеется, отчета в той тяжелой ответственности, которую на них налагает использование этих понятий, запутавшихся в метафизическом шлейфе.

С другой стороны, нет никаких оснований полагать, что для лингвистического философа эта «сила» может быть каким-либо образом персонифицирована или отдана субъекту на откуп. Из классических работ, посвященных речевым актам, нельзя извлечь никаких гипотез на этот счет, помимо скрупулезного выяснения некоторых «условий» – наполовину относящихся к самой языковой структуре, наполовину обнаруживаемых в «окружающей среде» – благодаря которым эта сила может сработать. В этом смысле между начальными описаниями крайне нестойкого эффекта перформативности и возлагаемыми на нее с недавнего времени надеждами на политический успех пролегает пропасть. В то же время сам по себе тот факт, что эта пропасть была успешно впоследствии преодолена, говорит о том, что между активистскими движениями и подходом лингвистической философии есть основания для сближения. Во всяком случае, в активистский лексикон это понятие попадает неслучайным образом, что заставляет обратить внимание на нечто такое, что предположительно должно объединять научный дискурс лингвистической философии и прагматику активистского жеста.

По всей видимости, искать это общее звено необходимо в представлении о т.н. «намерении» как о том, что воплощено еще в дорогом для Гегеля акте «выражения воли» – акте, реальность которого была уже не раз с тех пор поставлена под сомнение, не обнаружившее за ним в итоге ничего, кроме его величайшей соблаз-

нительности. При этом последним словом этого сомнения является не столько разоблачение тиранического и возвышенного смысла этого акта, сколько обнаружение его везде и всюду – в гуще самых обыденных отправлений субъекта, воображающего себя существующим на уровне намерения – своего или чужого. По иронии событий, на эту иллюзию в ее либеральной, «менеджерской» форме попались многие современные научные подходы именно тогда, когда сама эта иллюзия для психоанализа и социально-критической теории выглядела все более неудовлетворительно.

Не может быть простой случайностью тот факт, что именно «намерение» (*intention*) является самым употребимым термином всех штудий, посвященных речи как фактору так называемой «коммуникации». Все исследователи последней, даже порой вопреки их бесстрастному и далеко не обнадеживающему подходу к условиям действительности речи, оставляют читателя в убеждении, что именно коммуникативный идеал является высшей добродетелью, своего рода регулятивным идеалом блага высказывания. Субъект, появившийся вместе с современной публичной речью – это прежде всего субъект, беспредельно доверяющий инстанции «намерения» – будет ли оно намерением прогрессивным или же враждебным по отношению к пресловутому расширению «свобод и возможностей».

Речь при этом идет не о самом по себе доверии к чистоте намерений говорящего. Намеренность здесь не является характеристикой коммуникации – напротив, она полностью вписана в структурное устройство высказывания, в которой предъявление некоторого содержания совпадает с актом как побуждением к высказыванию и, одновременно, действием, вмешательством, которая речь способна произвести. Именно это совпадение в особой, подчеркнутой форме и отличает речевой акт перформативного типа, т.е. речь, описывающую действие, которое она же и осуществляет («предупреждаю...», «приказываю...», «прошу считать меня...» и т.д.). Очарование подобных конструкций как раз и заключается в том, что идеал намерения оказывается воплощен в них в наиболее соблазнительной форме, подкрепленной возникающей при этом игрой коннотаций – на деле, как признавал и сам Остин, вполне случайной – чему и обязаны непрекращающиеся выяснения, может ли тот или иной глагол выступить в качестве перформатива или же ему эта возможность заказана изначально.



Тем не менее, именно в заявленной Остином возможности удачного исхода этой игры и находится та лазейка, через которую понятие перформатива покинуло в итоге лингвистическую среду и выбралось на политические просторы. Верно, что лингвистическая философия строго, почти с компульсивной одержимостью отличает акты, обладающие иллокутивной силой, от всех прочих (здесь следует добавить, *предположительно* обладающие, ибо факт этого обладания с точки зрения лингвистического философа всегда необходимо устанавливать заново), но с точки зрения политического активизма «перформативность» речи заключается уже в том, что эта речь имеет намерение назначить некую реальность. При этом, невзирая на пренебрежение процедурой лингвистического определения, в используемой активистами версии перформативности сохраняется политическая верность начальной лингвистической терминологии, которая, полагая себя научной и формальной, сама себя в качестве объекта этой верности не осознает. Там, где для лингвистической философии использование понятие *акта* в отношении любой речи остается всего лишь терминологической обыденностью, активистский подход извлекает из него все ресурсы политизации. Именно это и лежит в основе питаемых активистом надежд на «актность» речи как ее «действенность».

Расчет этот, как следует показать, чреват рядом парадоксальностей. Так, можно было бы указать на перформативность самих по себе надежд на существования перформативной силы – все сомнения дерридианской деконструкции на этот счет остаются среди теоретиков перформатива неотвеченными и неразрешенными, что несомненно указывает на намерение перформативно их перешагнуть. Но есть и более экономный способ показать, каким образом то, что представляет собой последнее слово современной активистской риторики, оборачивается впечатляющим шагом назад, в философское прошлое. Парадокс этот является основным, и именно на нем необходимо задержаться.

### *Акт и креационистская иллюзия.*

Действительно, что происходит, когда акт – предположительно вторгающийся в сложившийся общественный и политический порядок – видится в качестве аналога поступка? Прежде всего, здесь оказывается восстановлена перспектива рассуждения, цен-

тром которого исконно являлось понятие «акта» – ход мысли, если не носящей полностью религиозный характер, то, во всяком случае, не избегающей терминологических последствий стиля мышления, затронутого некоторыми теологическими соблазнами. Выступая для политического активиста неприятной неожиданностью, это порочащее его практику сродство не является таким уж шокирующим – на самом деле, чувство риторического неудобства, которое оно может вызвать, ничто по сравнению с теми логическими коллизиями, которые оно в реальности производит. Довольно затруднительно было бы не видеть, что представлять акт таким образом – означает добровольно ввязываться в историю, предположительно чуждую той секулярной перспективе, в которой активистская среда видит смысл своих организационных намерений.

Коллизия заключается в том, что эти перспективы не сочетаемы друг с другом гораздо более принципиальным образом, чем это обычно себе представляют. Представления эти могут грешить упрощением – так, например, нет числа толкованиям, увидевшим в марксистской социальной критике насущного порядка порочащие ее пережитки религиозного подхода. Проведенные таким образом параллели сегодня никого не могут никого удивить, являясь для опытного читателя очевидной банальностью. Это означает, что коллизия находится глубже и что для ее обозначения недостаточно чисто публицистического подхода, в рамках которого, начиная с известной статьи С.Н. Булгакова<sup>5</sup>, остаются все наскоро проделанные разоблачения «мессианских ожиданий», присущих социальным движениям левого толка.

Напротив, вместо подобного рода критики, не выходящей в итоге за пределы наивного психологизма, необходимо показать, чем чревато подобное представление о «действенности акта». Не очевидно ли, что мыслить *акт* как вмешательство чего-то нового и достаточно мощного для того, чтобы изменить существующий порядок – вот программная мечта «перформативных практик» – можно только солидаризовавшись с представлениями, которые сами по себе никаких видов на новизну и изменение никогда не содержали? Именно в этом и заключается парадоксальность, поскольку речь здесь идет о *creatio* во всей его патетической мощи – акте производства без претензий на новизну, поскольку речь в креациониз-

---

<sup>5</sup> Булгаков С. Н. Карл Маркс как религиозный тип. // Вехи, М. 1909.

ме, тесно связанном с действенностью акта, всегда идет не об изменении, а о порождении.

Именно это и является отличительной чертой подхода, для которого сам по себе акт *creation* – пусть даже полностью секуляризированный и переведенный на язык политической практики – все еще может что-то значить. В этом моменте и следует искать причину той концептуальной несостоятельности, которая сказывается в попытках активистского подхода дать отчет о движущих им источниках – при том что, конечно же, нельзя сказать, будто активистская деятельность сама по себе несостоятельна и безуспешна. Речь идет не об успехе, критерием которого является т.н. практика, а об уровне, где сам успех на поприще этой практики вынужден оставаться необъяснимым явлением – своего рода «чудом». Последнее как раз и подтверждает наличие – пусть неочевидное и почти неслышимое – религиозной подоплеки, для подтверждения которой в традиционных ссылках на присущее активисту подвижничество нет никакой нужды. Подоплека эта имеет место не там, где речь идет о сфере «моральных посылок» или личных качеств. Вопрос следует адресовывать к самой терминологии, в которой видит себя активистская деятельность – именно эта терминология и стала причиной той благосклонности, с которой активистский стиль мышления воспринял учение о перформативном акте как о «малой революции» (не так уж мало источников, где и сама революция описывалась через непременно присущее ей измерение перформативности).

Проблема, как уже было сказано, заключается в тех воззрениях на речь и ее «актность» – а также, нельзя забывать, тем самым и на «коммуникацию», «производство», «обмен» и еще целый ряд явлений – которые лежали в основании теории, давшей понятию перформатива право на существование. Таким образом, необходимо снова вернуться к теории речевых актов с тем, чтобы посмотреть, какого еще рода выводы были из нее сделаны и до какой степени в них удалось с этими начальными посылками расстаться.

### *Speech act и énonciation – в чем разница?*

При всей последовавшей сенсационности понятия перформативности остается в силе тот факт, что понятие «речевого акта» изначально носит совершенно наукообразное обличье – в нем нет следа тех страстей, что разразились впоследствии по поводу вне-

сенных им провокативных различий между констативами и перформативами, где ставка на последние сегодня по сути представляет собой ставку на успех активистского начинания, за которым, как всем понятно, стоит чаемая всеми «возможность *на что-то повлиять*» – за этой смутной формулировкой сегодня стоит как никогда много.

В связи с этим следует обратить внимание на понятие, которое почти неразлично, в некотором роде призрачно сопровождало понятие «речевого акта» – это понятие *акта высказывания*. Последнее до сих пор носит неотрегулированный характер, поскольку появляется в ряде случаев – как это и произошло в русскоязычных публикациях – просто в результате перевода, авторы которого, впрочем, почувствовали, что солидаризация с аппаратом теории речевых актов в данном случае просто невозможна. В первую очередь это касается переводов, например, лакановских текстов, где речь всегда идет только об акте высказывания.<sup>6</sup>

Отличие этих двух терминов можно было бы считать произвольным, если бы за ним не обнаруживался порядок, связанный с отличием, которым невозможно пренебречь. Различие в целях употребления этих понятий разнится настолько, что в итоге приходится признать: речь идет о совершенно разных вещах.

Прежде всего, понятие «акта высказывания» – это то, что фигурирует в облике французского термина *énonciation*, обозначающий высказывание как факт, выходящий за пределы того, что высказано. За этим различием людям с лингвистическим образованием видится Э. Бенвенист – и действительно, последний употреблял в своем изложении именно этот термин. Тем не менее, популяризация концепта вместе с дальнейшей возможностью его аналитического применения принадлежит не ему, а Ж. Лакану. Ход рассуждений последнего настолько отличен от научного изложения Бенвениста, что на его фоне последний предстает скорее членом лингвистического лагеря, более солидарного с теорией речевых актов, чем с тем особым употреблением, которое понятию *l'énonciation* было ниспослано в лакановских «Семинарах», а также в некоторых его текстах.

Так, различие между двумя инстанциями речи – собственно, между «высказанным» (лингвистика называет это «содержанием»

---

<sup>6</sup> См. словоупотребление в изданиях семинаров Ж. Лакана (напр., Лакан Ж. Семинары. 11 том. «Четыре основные понятия психоанализа» / пер. А. Черноглазова. М. 2004).

или, буквально, изложением – *énoncé*) и «актом высказывания» (*énonciation*) – получило лапидарное выражение в данной Лаканом устной аннотации к его собственному небольшому тексту под названием «L'étourdit»:

«Отправной точкой послужила для меня дистанция между высказыванием, с одной стороны, и актом высказывания с другой... Акт высказывания, при этом, отличает то, что он систематически оказывается забыт за тем, что сказано».<sup>7</sup>

Эта формулировка более чем радикальна, но непрерывное и оглушающее присутствие на сцене всех – вменяемых и не слишком – последствий лакановского текста не позволяет сделать из нее надлежащий вывод. Между тем, она представляет собой совершенно иной подход к самому факту высказывания. В этом подходе с приоритетом «речевого намерения» во всех его формах оказывается полностью покончено, поскольку то, что относится к высказыванию как его «акт» является не поддержкой, не тавтологией предположительно сопряженного с высказыванием активного речеизъявления, но, напротив, постановкой под вопрос того действия, в которое целит речь. В этом смысле «актом» является не «выступление на площади» – обладающее перформативным потенциалом или же нет – а те более широкие обстоятельства, которые это выступление могут сопровождать и которые то и дело подменяют «действие» чем-то близким к тому, что психоаналитический лексикон именуется «разрядкой», сбросом напряжения – процесс, всегда сопровождающийся своего рода отводкой этого напряжения и ведущий к созданию неустрашимых эффектов в системе.

В любом случае, оказывается, что опираться на чисто феноменологическое, видимое совпадение высказывания как *énoncé* и акта высказывания как *énonciation*, больше нельзя – между ними обнаруживается структурный зазор такой ширины, что на его протяжении с пресловутым «намерением высказывания» буквально может произойти все что угодно. Именно так лакановское учение о акте высказывания поняла и усвоила интеллектуально-критическая среда. Последняя уже довольно давно, еще со времен К. Мангейма занималась «подозрением высказываний», постепенно осознавая необходимость проверять современные ей идеологические доктрины не только на фактическую, но прежде всего на структурную несостоятельность, в связи с чем лакановский концепт попал на благо-

---

<sup>7</sup> Лакан Ж. Семинары, т. 20. «Еще». М. 2011. С. 120, 132.

датную почву. Тем не менее, в подобном применении все еще сохранялись черты «лингвоцентрии» – в основном, структуралистского толка, представленной в многообразии всех форм союза между структурализмом и философией языка.

В качестве иллюстрации одного из следствий этого союза можно привести рассуждение С. Жижека, в своем недавнем интервью почти в точности повторившего пассажи из своих собственных ранних работ, относящихся к периоду его творчества, в который он еще ставил перед собой задачу популяризации лакановского хода рассуждений и его адаптации к левокритическому «интеллектуализму»:

«Речи свойственен несокращаемый разрыв между заявляемым содержанием и самим актом высказывания: Вы утверждаете то-то и то-то, но почему вы сообщаете нам это именно сейчас? Вообразите себе супругов, которые живут вместе с негласной договоренностью, что можно иметь связи на стороне, но держать их в секрете. Если муж внезапно открыто расскажет жене о текущем романе, она (с полным на то основанием) впадет в панику: Если это всего лишь интрижка, то почему мне о ней ты рассказываешь? Должно быть, это нечто большее! ... То же самое касается и многих политических ситуаций – например, открытых заявлений правительства США о применении пыток...»<sup>8</sup>

Дать толкование этому примеру с точки зрения искомого Жижеком разделения содержания и акта нетрудно. Так, фраза «Если это всего лишь интрижка, то почему мне о ней ты рассказываешь?» – это, собственно, уровень содержания высказывания. Дальнейшие же предположения жены: «Должно быть, (раз ты так смело говоришь мне об этом), это нечто большее!» – и здесь имеет место как раз предположительный уровень акта. Тем не менее, пример этот требует дополнительного комментария, поскольку при всем его остроумии предлагает то, что может выступать лишь компромиссом в отношении гораздо более нетривиальных последствий лакановского *énonciation*. В качестве предварительной иллюстрации он неплох, но его силу значительно ослабляет ряд упрощений, ведущих к неполному и неточному пониманию различия содержания и акта.

---

<sup>8</sup>Жижек С. «Не волнуйтесь, катастрофа обязательно произойдет»// Интервью сайту Кольта; <http://archives.colta.ru/docs/5216>

Для начала, необходимо снова развеять впечатление, будто в вопросе акта высказывания на кону всего лишь прояснение истинного намерения говорящего – будет ли это намерение сказать или же намерение скрыть что-то за произнесенной речью. Подобное предположение как раз и возвращает нас на уровень проблематики речевых актов Серля и Остина, в которых зачастую содержательно невинное и даже дружелюбное заявление вполне может рассматриваться в качестве попытки прекратить беседу или даже изъятия плохо прикрытой враждебности по отношению к собеседнику. Такова, например, проанализированная Серлем реплика студента «я пишу дипломную работу» в ответ на дружеское приглашение в кино. Нетрудно представить ситуацию, в которой этот ответ, прочитанный в качестве негативного коммуникативного намерения, вызовет у абонента – например, девушки студента – целую бурю эмоций вместе с самыми тягостными подозрениями. Но следует все же признать, что такого рода внутренние коммуникативные парадоксы остаются на уровне теории речевых актов именно по той причине, что за пределы собственно процесса коммуникации они не выходят – даже если и ведут порой к ее временному обрыву.

Уровень акта высказывания, напротив, представляет собой нечто такое, что ставит под вопрос не только процесс или ход коммуникации, но и саму теорию коммуникации со всеми ее целевыми допущениями. В качестве примера можно привести работу Ф. Рингера, посвященную «мандариновому вопросу» – вопросу ангажированности университета и политикам университетского высказывания.<sup>9</sup> Многие в силу актуального контекста в свое время прочли ее как свидетельство против университетского интеллектуала, в силу политической инертности выбравшего служение политике нацистского уничтожения. Сегодня же ее можно прочесть как предельно детализированный и не прямой, но одновременно отмеченный чертами однозначности ответ на то, что в гуманитарных кругах называется «кризисом университета» – специфическая формулировка, намекающая на то, что в конечном итоге все поправимо. Известно, что все, включая самих деятелей университета, не устают задаваться бесцельным вопросом: почему университетское преподавание (которое можно воспринимать как акт высказывания преподавателя) так неэффективно и ретроградно, причем наибольшую ретроградность оно приобретает в случае самых принципиальных и оп-

---

<sup>9</sup> Рингер Ф. Закат немецких мандаринов. М. 2005.

ределяющих – если дело касается, например, философии или общественных наук – концепций и текстов?

Ответ, данный Рингером и переведенный на язык современной социологии, звучит так: говорить о том, что Университет почему-то «не справляется» в этих случаях со своей задачей бессмысленно, поскольку перед Университетом стоит совершенно иная задача. Акт университетского высказывания – в отличие от содержания отдельных лекций и научных статей – что бы там ни думали, просветительским вовсе не является. Рингер как раз и анализирует исторические обстоятельства оформления акта университетского высказывания, приведшего к созданию современной системы преподавания, а также истоки веры в «миссию университета» – на деле, вписанной в этот акт – показывая, как университетский интеллектуал каждый раз на новый манер и в новых политических условиях обманывался этим невидимым для него различием содержания и акта в воспроизводимой им – в роли преподавателя, коллеги, критика системы – собственной речи.

#### *Акт в другом месте.*

Формулой акта высказывания в таком случае должен быть не сформулированный Жижек по следам его собственной работы с Лаканом вопрос: «Ты говоришь это, но что ты мне хочешь (а точнее, *не хочешь*) сказать на самом деле?» – вопрос, в опоре на который Жижек и предложил свой ранний вариант критики т.н. идеологического производства. Критика эта принесла в свое время значительную пользу, хотя следует признать, что заложенный в нее просветительский импульс, почти полностью основанный на том, что Фуко назвал «практиками подозрения», с тех пор несколько потускнел. Причина состоит в том, что, позволяя разделаться с наивной либеральной теорией коммуникации, основанной на прозрачности «добрых намерений» участников, работа критического подозрения заставляет впадать в противоположную крайность и искать в акте высказывания спасительные признаки «истины» – поскольку речь идет о режиме, где неприглядность открывшегося и истина идут рука об руку. Напротив, лакановский вклад указывает на то, что, различая содержание высказывания и акт и показывая, что акт не является для речи украшением ее благородных намерений, необхо-



димо порвать также и с представлением, будто акт может выступать в отношении речи как ее истина.

Вопреки таким образом сформулированному подходу, акт высказывания как *énonciation* – если принципиально подойти к последствиям его существования в лакановской теории, включая ее позднейшие достижения – отвечает на вопрос не об истине, а о том, в силу какого рода невозможности высказаться, заданной на уровне этого самого акта, звучит речь. Подтверждающим это примером, а также еще одним примером недостаточности общекритического подозрения акта может послужить характерный – в том числе и для той же активистской среды – спор, который вот уже долгое время вертится возле вопроса о том, до какой степени допустимо использовать тот или иной медийный ресурс для социальной или политической мобилизации. Вопрос, разумеется, приобретает особую остроту в тех случаях, когда ресурс сам по себе не является образцом активистской добродетели – скажем, недостаточно антибуржуазен или чрезмерно националистичен. К аналогичным случаям относится щепетильность в вопросе выбора издания для публикации в зависимости от типа его политической ангажированности или редакционной политики самих редакторов. Какой статус получает просьба о подписании петиции или попытка независимого политического анализа, если они задействуют технико-стилистические средства того или иного издания или интерфейса?

Поставленный таким образом вопрос напрямую относится к различению акта и содержания, поскольку на самый общий взгляд завязан на вопросе о том, каково в этом различии место самого медиума. Является ли акт чем-то таким, что наличествует в самом информационном средстве? Это принципиальный момент, поскольку классическим для большинства представителей критической теории является ответ, практически полностью приравнивающий акт высказывания к медиуму, с помощью которого передается сообщение. Именно к этому по существу и сводятся дальние потенции предложенного Мак-Люэном решения, воспрещающего воспринимать содержание сообщения в отдельности от средства, с помощью которого (и *по форме* которого) оно передается.

До сих пор не исчерпало себя намерение оспорить это воспрещение, доказательством чему служат спорадически возникающие попытки доказать, что в ряде экстренных или «общезначимых» случаев медиум может оставаться в известной степени безразлич-

ным по отношению к сказанному. Тем не менее, вся публичная активистская среда – это по сути непрекращающиеся выяснения отношений между феминистками, находящими тексты своих коллег подмятыми «сексистской политикой» журнала, где они вынужденно опубликовались, или между ортодоксальными левыми, осуждающими сотрудничество с либеральными СМИ и ловящими на нем своих менее стойких к искушению собратьев. Последние, естественно, оправдываются широтой возложенной на них пропагандистской задачи и необходимостью «расширения поля влияния».

На что в первую очередь следует обратить внимание, так это на то, что оборотной стороной подобной щепетильности как раз и выступает общая и неоспоримая убежденность, будто сам факт публикации так или иначе будет *публичным* в самом пафосном и этически чреватом смысле этого термина – т.е. возлагающим ответственность на публикатора в силу последствий, которыми сам факт такой публикации чреват. Именно на этом и следует сконцентрироваться, поскольку узкопрофильные партийные конфликты по обыкновению затушевывают возникающую в этот момент перспективу ложной универсальности, в которой полномочия «публичного» возрастают до небес. Именно здесь, в этом неожиданном возвеличивании и нужно искать присутствие акта высказывания, который оформляет публичное поле даже тогда, когда отдельные субъекты считают, что их публичные действия стали жертвой противоречия или недоразумения.

В этом смысле *énonciation* находится вовсе не в медиуме – напротив, акт оформляет все поле медиа так, что противоречие оказывается, выражаясь альтюссериански, вписано в него на другом уровне. Оно обнаруживается не там, где медиум обладает «формой» и следующими из нее политическими припусками, но там, где, невзирая на отдельные претензии «к форме», ни у кого нет возражений против значимости и чреватости медиа в целом – против того, что составляет саму суть «сообщительности» медиа, которая сегодня как никогда нуждается в критическом анализе. Акт здесь воплощен в пожелании медиа здравствовать вопреки всему тому, что может повлечь столкновение субъекта с ним – парадоксальное пожелание, ничего общего с «интересами субъекта» не имеющее, поскольку современный субъект как раз и является «маклюэновским субъектом», обреченным на разборчивость в отношении средств сообщения. Вопреки большинству теорий, настаивающих

на абстрактной «всеобщности» коммуникативного как такового, для этого субъекта нет ничего более не согласующегося с его интересами, чем существование универсальной адресации, которая сама бы по себе была благом.

Этот пример еще раз показывает, что акт не является чудесным и гармоничным образом вписанным в высказывание намерением «сказать» – намерением, которое балансирует между мистикой и банальностью, ибо это намерение как будто обнаруживает любая речь, хотя некоторые философы – в основном опять-таки персоналистского толка – временами и видели в этом что-то завораживающее. В то же время право этой речи быть также и действием – причем действием по-своему «эффективным» – до сих пор не получило никакого обоснования – пресловутая теория перформативности со временем все больше поворачивается самыми сомнительными своими сторонами, хотя чисто практическое значение за ней все же можно признать.

Напротив, роль акта высказывания, в отношении которого больше не ставится вопрос о его «действенности», заключается в том, что, не будучи ни причиной, ни формой, он предстает своего рода условием речи – в том смысле, в котором Хайдеггер употреблял термин «основание», показав в то же время, что ни метафизические, ни психологические характеристики этому основанию не присущи и что речь идет о том, что никакой основательности в обычном понимании слова не содержит. Уровень *énonciation* предстает условием, которое больше не имеет отношения к намерениям говорящего – ни благим, ни, напротив, подозрительным. Необходимо также порвать с тем, от чего до сих пор не отказались до конца – хотя поводов была масса – с представлением, согласно которому речь непременно обязана быть в связи с тем, что в окружении субъекта может выступать как непосредственный повод для нее – другими словами, с призраком «второй сигнальной системы», навязчиво продолжающим преследовать коммуникативную теорию. Опыт подсказывает совершенно иное – речь, претендуя на значимость, выражает именно желание иметь повод.

В этом плане акту высказывания можно было бы дать следующее определение: речь, помимо содержания, обладает актом не в силу того, что субъект на что-то рассчитывает или транслирует чью-то политическую волю – манипулятивный аспект, на котором концентрируется социально-критическая социология и который, по

всей видимости, можно устранить только вместе с самой этой социологией – а ввиду того, что речь демонстрирует цель, выходящую за пределы какой бы то ни было коммуникативности – как в смысле лингвистической ставки на содержание сказанного (включая все скрытые содержания, которые по сути социально-критическая теория и ищет), так и в более широком смысле «установление контакта и поддержания общности».

Это приводит к совершенно иному взгляду на соотношение акта высказывания, намерения и действия, где акт уже не является аналогом вмешательства субъекта в реальность или же в поле условностей (что и является, по существу, творческим вкладом Батлер в остиновскую теорию речевых актов, ибо если та базировалась на допущении, что иллокутивная сила речи работает только в том случае, если для этого будут подходящие условия, то Батлер провозглашает иную программу: акт как вмешательство в эти самые условия с целью их изменить, для чего и предлагает ставшую популярной в девяностые политику «перехвата», «переназначения» символических отношений власти).

При этом искать присутствие *énonciation*, акта высказывания, следует на том уровне, где намерение, предположительно вложенное в высказывание (здесь следует сразу сказать, что долгое время лелеемое различие между сознательным и бессознательным намерением здесь никакой практической ценности не представляет), оказывается потусторонним акту. Акт какого-либо высказывания нужно искать в другом по отношению к этому высказыванию месте – довольно бессмысленно шарить под высказыванием в поисках его акта как его изнанки или подоплеки. В ряде случаев многое проясняя в положении того или иного высказывания, его акт не связан с содержанием и из него напрямую не выводим – вот итог, к которому почти вплотную подошло лакановское рассмотрение, посвященное вопросам высказывания и того двусмысленного положения, в которое субъекта ставит любая попытка задействовать речь.

Все это заставляет иначе взглянуть на пресловутое, якобы присущее речи «бездействие». По-настоящему бессильной речь делает вовсе не тот факт, что она не является «действием», а то, что истина ее структурного положения заключается в неизбежном, одновременном с высказыванием предъявлении акта, который не только способен скомпрометировать сказанное, но способен также

не поддерживать те интерпретации, которые этой речи адресованы со стороны критической теории. Выделение инстанции акта оказывается условием анализа тех особенных неудобств, которые доставляет субъекту необходимость публичного использования своих речевых способностей, совершается ли оно на властно-административной или же интеллектуально-критической основе.

Именно в этом состоит различие, отделяющее теорию речевых актов в лингвистической философии, а также социально-критическое подозрение акта высказывания от акта (*énonciation*) в версии, вытекающей из более строгого применения лакановского учения. В последнем акт больше не подкрепляет сказанное посредством «локутивной мощи», якобы ему присущей по мнению лингвистов и специалистов по коммуникативной теории. Напротив, наличие акта – даже выступая для речи в роли единственной возможности быть озвученной – является не причиной коммуникации, а самым главным аргументом против существования пресловутого «коммуникативного договора» – по крайней мере, в том пасторальном виде, в котором он остается предметом гуманитарных исследований.